

И. БОЛГАРИН  
В. СМИРНОВ

# АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА



МИЛОСЕРДИЕ ПАЛАЧА

Адъютант его превосходительства

Игорь Болгарин

**Милосердие палача**

«ВЕЧЕ»

2009

**Болгарин И. Я.**

Милосердие палача / И. Я. Болгарин — «ВЕЧЕ»,  
2009 — (Адъютант его превосходительства)

ISBN 978-5-4444-7840-0

Как стремительно летит время на войне! Лишь год назад Павел Андреевич Кольцов служил «адъютантом его превосходительства». Всего лишь год, но как давно это было... Кольцов попадает туда, откуда, кажется, нет возврата – в ставку беспощадного батьки Махно. А путанные военные дороги разводят Старцева, Наташу, Красильникова, Юру. Свой, совершенно неожиданный путь выбирает и полковник Щукин... Книга выходила ранее в другой серии.

ISBN 978-5-4444-7840-0

© Болгарин И. Я., 2009

© ВЕЧЕ, 2009

# Содержание

Глава первая	6
Глава вторая	14
Глава третья	16
Глава четвертая	23
Конец ознакомительного фрагмента.	28

# **Игорь Болгарин, Виктор Смирнов**

## **Милосердие палача**

© Болгарин И.Я., 2009

© Смирнов В.В., 2009

© ООО «Издательство «Вече», 2015

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2015

Сайт издательства [www.veche.ru](http://www.veche.ru)

## Глава первая

Туман медленно рассеивался, и то, что еще совсем недавно выглядело таинственно и угрожающе, приобретало очертания приткнувшихся к песчаному берегу кораблей и барж. Они теснились, словно скот на водопое. Возле судов сновали солдаты, которым через несколько минут предстояло идти в бой. Они ставили прочные дубовые сходни. По сходням нехотя, с опаской, подталкиваемые людьми, спускались лошади. Едва сойдя на берег, лошади, подогнув ноги, падали на песок.

Командующий десантом Яков Александрович Слащев с небольшого пригорка наблюдал за выгрузкой десанта и недовольно хмурился. За пригорком, где находилась Ефремовка, начинали глухо пощелкивать в сыром воздухе оружейные выстрелы, пока еще одиночные, прикидочные, но явно свидетельствующие о том, что десант обнаружен и противник пытается угадать направление главного удара, чтобы там сосредоточить свои малые силы. Слащев был осведомлен, что Ефремовка охраняется одним полком, изрядно потрепанным, недоукомплектованным. Лучших командиров и красноармейцев забрали на польский фронт. Оставшиеся же должны были подготовить пополнение из местных парней, которые воевать не только не умели, но, похоже, и не очень хотели.

Взгляд Слащева задержался на расторопном капитане-артиллеристе Барсуке-Недзвецком, а по-военному – просто Барсуке. Тот возникал то возле одной баржи, то возле другой, на кого-то покрикивал, где-то подставлял плечо.

«Вот на таких армия и держится», – одобрительно подумал он.

В офицеры, как помнил Слащев, Барсук выбился из вольноперов<sup>1</sup>, после двух лет службы наводчиком да краткосрочных курсов. Первая мировая, она же Великая, многих вот так выдвинула из грязи в князи. Барсук гордился своими звездочками на погонах и двумя Георгиями на груди. Он словно был рожден для войны. Видать, и война поняла и полюбила его.

Барсук на глазах Слащева из шести утопленных в разгрузочной сутолоке пушек четыре уже выволок на берег. Мокрый и грязный, но весело скалящийся, он шагал среди лежащих на берегу лошадей, отыскивая не поддавшихся качке.

– Гляди, какая скотина лошадь! – орал он, обдаваемый брызгами волн. – От грамма никотина, зараза, сдыхает, от полстакана водки шалеет, а от шторма ложится, как свинья... А еще на четырех ногах. Почему мы, двуногие, все терпим?

Сотня солдат, таких же мокрых с головы до пят, как и Барсук, да пятерка лошадей тащили по зыбучему песку уже пятую пушку.

– Француженка моя! – поцеловал Барсук ствол вытащенной из воды семидесятипяти-миллиметровки. – Красавица худосочная!.. Соленая, зараза!

Мимо Слащева пробежали казаки и поднимались на пригорок. Встреченные нестройными залпами, они, не приученные воевать в пешем строю, залегли.

Красноармейцы полка Короткова, изредка отстреливаясь, лихорадочно окапывались на узком перешейке между лиманом и селом. Почва была легкая, копали быстро, но песок вновь осыпался – и получались не окопы, а черт знает что, какие-то ямки для детских игр. Настроение у бойцов было скверное, все понимали: понакидают беляки шрапнельных гранат – не спрячешься. И все равно работали шанцевым инструментом споро: хоть задницу от пуль спрятать – и то дело.

Пыль стояла столбом и оседала на потные гимнастерки. Туман уже рассеялся, и начало пригревать солнце.

---

<sup>1</sup> Вольнопер – вольноопределяющийся, то есть военнотрудовой, добровольно вступивший на военную службу после получения высшего или среднего образования и пользующийся в армии определенными льготами.

Коротков, глядя с крыльца на широкую полосу пыли, окутывавшую околицу села, орал в телефонную трубку:

– Всего высаживается около десяти тысяч... Что значит «невозможно»? Невозможно голым задом на еже сидеть. А у меня верные сведения, надежный человек у плеча, он подсказывает.

Кольцов действительно стоял рядом, и Коротков по-свойски весело ему подмигнул.

– Высаживается корпус генерала Слащева, в авангарде у него конная бригада Шиффнер-Маркевича. И еще Восьмой кавалерийский полк с конной батареей. Шиффнер-Маркевич с казачками по берегу лимана вроде на Акимовку чешут. А Слащев пока тут, возле нас обретается. Видать, скоро вдарит... Во-во! Потому и говорю «видать», что не знаю, по сопатке влупит или под зад коленкой... Ну что ты мне, Михал Иваныч, все про субординацию! Мне теперь, Михал Иваныч, смерть принимать надо, не до ваших умных слов!..

Кольцов с горечью вслушивался в громкую и резкую речь комполка. Этот мужик понравился ему сразу, и было ясно, что он со своими ребятами здесь, на этом песчаном перешейке, и останется, ляжет под напором слащевских колонн. А что Слащев воевать умеет – и красные и белые хорошо знают. Настоящий военный талант. Коротков ли ему помеха?

Кольцов был рад, что судьба в конце концов вывела его на Короткова, который сразу же, с первых слов, поверил и ему, и истинности его поспешного, захлебывающегося в словах доклада. Этот бывший унтер-офицер царской армии сразу понял, что Слащев, и только Слащев, способен на такой невероятный, рискованный десант, на высадку целого корпуса, да еще в шторм, да еще в Кирилловке, на острие самого дефиле, где противника ну никак не могут ждать. Даже высокообразованный начштаба Тринадцатой армии Михаил Иванович Алафузо не смог бы предугадать такой операции.

Коротков бросил трубку на телефонный аппарат, вытер взмокший лоб.

– Ну что? Все же поверили? – спросил Кольцов.

– Видать, дошло. Зашевелились, мать...

– Ты вот что, Коротков! – Голос Кольцова зазвучал строго, по-приказному. – Велика выдать мне винтовку. Не могу же я у тебя тут, в самом деле, за штатского ходить!

Коротков оскалил белые ровные зубы. Было ему лет двадцать пять, и семь из них он провел в войнах. Всего нагледелся.

– Э нет! В цепь я тебя не пошлю, – сказал он. – Мне лишнего мертвяка не надо. У меня своих скоро считать не пересчитать. А ты, видать, птица особого полета. И выходит так, что моя задача тебя сберечь и в штаарм живым и целым доставить... Словом, вот что! Ты умойся, а то кровь на лице, и возьми мою командирскую фуражку – больно вид у тебя невнушающий. Я сейчас всю полковую документацию вместе с особистом в тыл на всякий случай отправляю. Поедешь с ним... пока, может, проскочите... А со мной тебе делать нечего, у меня тут задача солдатская, простая, как котелок: стоять – и все... Прощай, браток, а дело ты сделал большое. Я так понимаю своим церковно-приходским умом, что, если б не ты, отрезал бы Слащев почти всю Тринадцатую армию и прижал бы ее к Крымскому перешейку, а оттуда бросил бы главные силы... Так? И была бы Северная Таврия открыта, как глечик с молоком для кота... А теперь еще будет вопрос: что у кого и как получится. Не застрянет ли голова кота в этом самом глечике?

Он рассмеялся. Почти беззлобно.

– Вот Слащев гнида. Схватывались мы на перешейке весной, и там он меня бил, учил уму-разуму. А теперь, похоже, окончательно доучит... Ну прощай!

Ладонь у него была по-крестьянски грубой и крепкой.

Через полчаса Кольцов ехал на бричке по мирной, тихой таврической степи, которая, кажется, веками, тысячелетиями была вот такой же, как сегодня, безмятежной. Хотя, если

вспомнить, ой-ой сколько летело в этой степи голов, сколько лилось крови, сколько насыпалось курганов над могилами вождей и полководцев...

Рядом с Кольцовым покачивался на сиденье крепко сбитый, с выпуклой грудью, охваченной ремнями, коротыш: товарищ Грець из Особого отдела дивизии, прикомандированный к Короткову. В ногах у них лежал сундучок с секретной документацией, который и надлежало отвезти в тыл.

Грець барабанил пальцами по деревянной кобуре маузера, недовольно шурил глаза. Он хотел остаться в полку, чтобы там принять бой, может быть, поддержать людей, повести в контратаку, а может, залечь с «люйсом», верным ручным пулеметом, позади окопов, чтоб, значит, не пробовали бежать от беляков красные герои. А сейчас «люйс» с круглым рубчатым диском и толстым защитным кожухом, помятым во многих местах, подпрыгивал на сундучке без всякой боевой пользы.

А еще Коротков на прощание, поднеся к носу Греця пролетарский кулак, чтобы яснее дошли слова, приказал доставить в штаб Тринадцатой этого незнакомого человека в полуштатской одежке, смысл существования которого был Грецю совершенно неясен. Принес важные сведения, конечно, но кто он – перебежчик, изменивший своим, или верный советский товарищ, может быть, даже член партии большевиков, это было Грецю непонятно.

Мысли у Кольцова тоже путались, но по иным причинам. Слишком много событий произошло за последний день. Высадка десанта, «плен», Емельянов, возможный расстрел, Дудицкий, скачка на издыхающем жеребце... Таврическая степь колыхалась в мареве. Дальние курганы, на которых застыли каменные «скифские бабы», плавали в потоках теплого воздуха.

Кольцову не терпелось в штаб Тринадцатой. Поняли ли они весь смысл операции Слащева, да и вообще угрозу Республике, исходящую из Крыма, где Врангель за два месяца подтянул, укрепил войска, как следует их вооружил, зарядил яростью и бросил в Северную Таврию, как бы подсекая фланг всей Красной Армии, ведущей тяжелую, смертельного смысла войну с Польшей Пилсудского. Но по песчаному, вязкому шляху кони тащились так неохотно! Лишь на уклонах ездовой, поправив на спине карабин, подскакивал, кричал страшным голосом, похлопывал старых кляч вожжами – и тогда бричка, кряхтя, переваливаясь, катилась вниз и появлялся легкий ветерок движения...

Как медленно! Словно в старые мирные времена. А между тем в эти минуты переворачивается новая страница русской истории. Только легкомысленный человек может считать наступление Врангеля авантюрой. Это – запал к гранате. Сам по себе запал – не оружие. Но если... Если пострадавшая, голодная и недовольная Россия ответит взрывом... Куда будет направлен этот взрыв?

– Эй, Бурачок, куда топашь? – услышал Кольцов сквозь дрему сиплый басок Греця.

Они поравнялись с группой людей, ездовой попридержал упряжку, и кони охотно перешли на медленный шаг, отбивая хвостами мух. Двое вооруженных красноармейцев сопровождали мужика и бабу, по виду типичных селян. Старшой из конвоиров кроме винтовки имел еще и револьвер в кобуре, на голове была мятая морская фуражка со звездочкой.

– Как велели, товарищ Грець, – ответил он. – В тыл для разбору. Как подозрительный элемент...

– Понимаешь? – обратился Грець к Кольцову. – Вчера под вечер врангелевский «нюпор» над хутором пролетел, а они давай белье развешивать... И белое и цветное... Я враз и догадался, а что, ежели они семафорят? Ну сигналы свои злодейские подают. Нас, моряков, на мякине не проведешь... Вот и Артюх, он тоже моряк. Скажи, Артюх!

– Известное дело, – отозвался Артюх.

– Вот! Это ж вчера было. А теперь все и прояснилось. Ты понял, Артюх? Врангель с моря прет, сигнала дождался!

Кольцов поймал на себе отчаянные, испуганные взгляды арестованных.

– Ну и чего теперь делать? – спросил уставший, потный Артюх.

– Чего делать! Известно, стоять насмерть! Так что давай поворачивай обратно в Ефремовку. Там теперь каждый штык на счету.

– А этих?

– Ты чего, вчера родился? – зло сказал Грець. – Время военное! Нечего с ими адвокатуру разводить!..

Ездовой стегнул кнутом лоснящиеся спины лошадей. Кольцов услышал сзади резкие, эхом уносящиеся в степь выстрелы. Оглянулся: мужик и баба лежали у дороги, а конвоиры трусцой бежали назад, к Ефремовке.

– Какое ты имеешь право? – закричал Кольцов Грецю, чувствуя, что скулы сводит лютая ненависть к этому самоуверенному коротконогую особисту. – Хуже белого палача! Вот в Мелитополь доберемся... все сделаю... под трибунал пойдешь!

Грець равнодушно и даже презрительно посмотрел на Кольцова. Глазки у него были маленькие, глубоко упрятанные в сеточку морщин. Два жала.

– Ты, товарищ, или, может, гражданин, лекцию мне не читай. Сам грамотный, – тихо и ласково сказал он сквозь зубы. – Военный момент, я и тебя могу до штаба не довезти, оч-чень даже свободное дело.

И он положил руку на темную, в насечке, рукоять маузера, что высывалась из деревянной кобуры, как из норы.

Кольцов заставил себя успокоиться. Еще секунда – и он схватился бы с этим крепышом Грецем и с ездовым, который не остался бы безучастным. Скорее всего дело бы кончилось не в пользу Кольцова. Ну и кто бы доложил в штабе о планах Слащева и Врангеля? Кто, кроме него, обладает этой секретной информацией, ради которой столько людей жертвовали своими жизнями?

– Я не шучу! Я потребую разбора и суда! – твердо сказал Кольцов, не желая сдаваться. Грець мог принять его молчание за испуг.

– Ой-ой! – Одна щека у Греця странным образом поползла вниз. – Гляди какой юрист! Пристяжноповеренный – октябрист умеренный! Ты мне еще про указ об отмене смертной казни напомни... – Он внезапно приблизил свое лицо, обдав Кольцова табачным дыханием. – Только, свободное дело, ты забыл, что мы в зоне боевых действий и на эту зону указ не распространяется. Понял, юрист?

Кольцов отодвинул от себя Греця плечом. Но продолжал смотреть ему в глаза, стараясь выразить взглядом полное спокойствие и даже легкое презрение. Сейчас это было его оружием. Единственным.

И еще он подумал о том, что там, в штабе Армии, или в другом месте, куда забросит его судьба, надо будет хорошенько разобраться. Нет, не только с Грецем. Во всем разобраться. Время стремительно меняет людей и законы их жизни. Только курганы и каменные бабы кажутся вечными и незыблемыми.

Надо разобраться. Он теперь путешественник, ступивший на землю после долгого плавания.

Суда разгружались медленно. Совсем не так, как рассчитывал Слащев, когда сидел у себя в салон-вагоне над картами. Сказывались и усталость солдат, и шторм, укачавший даже лошадей.

И все же лошади, слегка отдышавшись, стали понемногу подниматься на нетвердые еще ноги и тянуться мягкими губами к серебристым веткам диких маслин и дерезы.

Слащев окончательно убедился, что все идет хоть и не так, как хотелось, но все же сносно, пошел от берега моря в сторону Ефремовки. Вместе с солдатами, на ходу заряжающими винтовки, поднялся на пригорок: увидел вдаль, в конце большого пустыря, поблескивающие под утренним солнцем оконца Ефремовки. Ему бы сейчас коня, но все пригодные лошади были

заняты, они вяло тащили к полю боя пушки и подводы с боеприпасами и радиостанцией. Изредка чирикали над пустырем пули, и сладостно было это пение для генерала. Кончилась тыловая нуда, кончились ночи, полные сомнений и раздумий, началось дело. Его дело!

Развернув на зарядном ящике карту, Слащев еще раз продумал операцию... Ефремовка не в счет, ее практически уже нет. Дальше – Акимовка, станция верстах в тридцати пяти от Мелитополя. Красные не успеют подготовить ее оборону. Главное, что они пока еще либо ничего не знают о десанте, либо не понимают ни его смысла, ни его силы. Они, конечно, будут думать, что здесь высадился всего лишь диверсионный отряд.

Пусть помучаются в раздумьях еще час-другой, и казаки Шиффнер-Маркевича, Восьмой полк и Кубанская бригада выйдут к Акимовке, а оттуда помчатся вдоль железной дороги к Мелитополю и как снег на голову свалятся на штаб Тринадцатой армии со всеми их красными генералами, с Паукой и Эйдеманом, этими жестокими прибалтами. В Тринадцатой, лучшей на Южном фронте, полным-полно «интернационалистов» – эстонцев, австрийцев, латышей, китайцев, «красных мусульман». То-то будет потеха захватить эту международную компанию!

Но не это главное. Это – для «шороху и шуму», отвлекающий маневр. Основные свои силы Слащев повернет на запад, охватывая с тыла те дивизии Тринадцатой, которые обороняют Крымский перешеек и не дают корпусам Кутепова и Писарева вырваться со стороны Чонгара и Перекопа на таврический степной простор. «Краснюки» окажутся в ловушке. Тринадцатая перестанет существовать, и вся Северная Таврия окажется в их распоряжении – кати на север, запад, восток, подавляя разрозненные атаки со стороны спешно идущих резервов. Какая картина! Какая замечательная картина!

Слащев вспомнил, как он бил красных зимой и весной, прикрывая Крым разрозненными частями, состоящими из наспех мобилизованных тыловиков, студентов, из недообученных юнкеров. Он бился не на перешейках, он давал большевикам, упоенным легкостью перехода, выйти на студеную крымскую равнину и там укладывал под огнем, морозил их как следует, а затем наносил фланговые удары по уже деморализованным войскам. Красных было до двадцати тысяч, а у Слащева тысячи три-четыре солдат – с бору по сосенке... «Крымский черт» – так называли тогда Слащева большевички.

Сейчас же у него корпус, прекрасно подготовленный для длительных и трудных боев... И этот корпус уничтожит, развеет по ветру прославленную Тринадцатую, которую Троцкий назвал «оплотом Юга»...

Слащев оторвался от своих сладостных размышлений и оглядел поле предстоящего боя. Стрельба не разгоралась. И с той и с другой стороны словно накапливали заряд злости, чтобы вскоре сойтись в смертельной схватке.

«Надобно бы помочь казачкам», – подумал Слащев и обернулся, поискал глазами артиллеристов.

– Барсук! – окликнул он, и на удивление быстро, почти тотчас, перед командующим возник все еще мокрый и припорошенный белесой песчаной пылью, но, как и прежде, весело скалящийся капитан.

– Я тут, Яков Александрович! В выбалочке рядышком расположился! – совсем не по уставному отозвался Барсук, и это почему-то даже понравилось Слащеву. Не многим позволял он такое обращение, только тем, к кому испытывал особое расположение, завоеванное не в одном бою. А Барсук у Слащева был чем-то вроде талисмана, он не однажды своими пушками творил настоящие чудеса.

– Подсобил бы казачкам! – тоже не приказным тоном как бы попросил Слащев – такая была у них игра. – Попробуй-ка бризантными! А?..

Минуты через три, сняв пушки с передков, расторопный Барсук начал пристрелку по окопам шрапнельными. Первые стаканы лопнули высоко, и по их желтым дымам Барсук сменил прицел и трубку. Теперь дымки вспыхивали уже как раз над песчаными ямками, в кото-

рых лежали, постреливая, красноармейцы. Шрапнель накрывала их градом. «Марианки», как называли артиллеристы скорострельные французские пушки, выплевывали в минуту пятнадцать снарядов.

Когда Слащев показалось, что весь пустырь перед Ефремовкой перепахан, он приказал прекратить огонь и двинул пехоту. Казаки и солдаты поначалу шли, низко пригибаясь, а затем, будучи уверенными, что впереди их уже не ждет опасность, распрямлялись и вышагивали во весь рост. Слащев втягивал ноздрями запах гари и порохового дыма. Был он для него слаще кокаина. Да и какой кокаин на фронте – тьфу! И так каждый нерв дрожит, и сердце упоено азартом и риском, и мысли рыщут лихорадочно в поисках правильного победного решения.

Слащев не хотел задерживаться здесь, возле этой богом забытой Ефремовки. Он рвался дальше, к Акимовке. Именно там должен был воплотиться в жизнь его хитроумный план. Победа добавила бы к его уже завоеванному в боях титулу «спасителя Крыма» титул «освободителя Таврии». Он жаждал этого. Его честолюбие жаждало. Слащев привык к восхищенным взглядам, приветственным возгласам, букетикам цветов, которые бросали ему дамы. Слава – еще более манящий наркотик, чем кокаин. Ее всегда мало. Генерал знал, что заслужил признание своими победами и своей кровью, которой немало пролил от Влоцлавска до Ростова. Семь жестоких ранений отзывались болями, лихорадкой, бессонными ночами.

Звук длинной пулеметной очереди оторвал Слащева от размышлений. Зачастили винтовочные выстрелы со стороны красных, ударила уцелевшая у них пушчонка, и снаряд лег посреди цепи наступающих солдат. Застрочил еще один пулемет...

Солдаты и казаки начали ложиться, прижиматься к спасительной земле. Потом у кого-то из них не выдержали нервы, он побежал обратно, к ложбине. За ним бросились еще несколько.

Слащев понял, что застрял. И пожалел, что недооценил потрепанный полк и решил взять Ефремовку, не подготовившись, еще до того, как полностью выгрузится с судов весь корпус и получат хоть небольшую передышку и люди и лошади. Но больше всего пожалел, что еще затемно, первыми, выгрузил казаков Шиффнер-Маркевича и тихо, в обход Ефремовки, отправил их на Акимовку...

Целый день шел бой. До самой ночи. Поначалу красноармейцы отбивались из своих, вырытых прямо на пустыре перед Ефремовкой, неглубоких окопов. А к ночи огнем ошетинилось село.

И как издевательство, как насмешка над наступающими, глядели на них из палисадников роскошные летние красные цветы. И источали дурманящие запахи, которые, перемешиваясь с пороховой гарью, тревожили и бередили душу и вызывали неосознанное, но непреодолимое желание жить.

И вновь, как уже не однажды, Слащев решил прибегнуть к испытанному им оружию. Он приказал к утру выдвигаться на позиции оркестру. Бледные трубачи прошли мимо генерала, стараясь держать шаг.

Слащев велел денщику подать взятую однажды в музей гусарскую парадную форму образца 1910 года: доломан, обшитый золотыми шнурами, ментик со смушковой оторочкой, шапку с султаном и белые чакчиры. В этой форме он ходил на Махно, когда атаман прорвал деникинские тылы, и только Слащев смог разбить анархистское войско.

Наглый этот цветастый наряд, служивший отличной мишенью для любого стрелка, почему-то ошеломлял противника, а своих веселил и воодушевлял. На то и «крымский черт», чтоб веселить!

– Господи, да где ж я это отыщу? – стонал денщик Пантелей. – Ведь не в вагоне, где шкафчики-полочки... Небось мягое лежит, неглаженое на подводе.

Но все требуемое достал и помог натянуть, приговаривая:

– Генерал-лейтенант как-никак на командном пункте обязаны... И Нина Николаевна мало что тяжелы, да еще пораненые. Как она без вас, в случае чего, не дай бог!

– Молчать! – прошипел Слащев, нагоняя на старика столбняк.

Он пошел к оркестру, который на ходу уже грянул Преображенский марш. Поднялись цепи. Ударил вся подошедшая к этому времени артиллерия, начальником которой Слащев назначил Барсука, назвав его полковником.

Начал обозначаться успех. Стихала стрельба.

Барсук, прячась за артиллерийским щитком от все еще огрызающегося пулемета, еще около часа выбивал красных из хат Ефремовки. Соломенные крыши, иссушенные солнцем, вспыхивали, как коробки спичек. А напоследок Барсук вогнал несколько осколочных в мезонин единственного в селе каменного дома.

И стало тихо. Даже шум прибоя, даже шелест листвы словно замерли на время.

Бывший российский вольноопер Славка Барсук вынул из-за уха и сунул в рот папироску: он свое дело сделал. Перевязанная рука – пуля пробила мякоть предплечья – плохо сгибалась, и наводчик поднес капитану зажигалку.

Закурив, здоровой рукой Барсук нащупал в кармане гимнастерки завернутый в тряпицу перстень с редкостным колумбийским изумрудом. Цел!.. Единственная память о покойных родителях, разоренном имении. Пуще всего Барсук боялся пули или осколка в левый нагрудный карман.

– Пробьемся дальше – будешь начальником корпусного дивизиона, – сказал подошедший Слащев. – С повышением!

Генерал знал: если б не храбрость капитана и его пушкарей, они бы здесь еще сутки ковырялись. Быстро вершатся карьеры на войне!

Из разрушенной хаты солдаты вытаскивали красного комполка.

– Постой! – сказал Барсук, взглядываясь в убитого. – Ей-богу, Коротков! Мы с ним под Осовцом вместе унтерские лычки получали... Гляди, выдвинулся у красных. Смелый, ваше превосходительство!

– Похороните по-человечески! – сказал Слащев.

Хоронить убитых пришлось наказать крестьянам, выползающим из погребов. Слащев рвался дальше... Марш-марш! Вроде бы одержана победа. Но на душе у генерала было мутно. Он потерял внезапность наступления. Красные наверняка уже подтягивают резервы.

Из порванной гусарской шапки Слащев достал осколок. Излетный: оставил только царяпину с запекшейся кровью. Отдал шапку Пантелею:

– Зашей. Да поаккуратней. Еще пригодится.

Попробовал приложиться к фляжке с виски – тяжесть в груди не спадала, настроение не улучшалось. А что, если красным стало известно об операции с десантом еще до высадки? А быть может, и то главное, что знали немногие, – ее далеко идущие цели? Мысль о предательстве, внезапно поселившаяся в его сердце, не давала покоя и лишала уверенности. Кто? Когда? Как? Он перебирал все обстоятельства подготовки десанта и его высадки – и не мог понять. Даже предположить. Все было засекречено так, как никогда не засекречивали еще ни одну важную операцию.

На несколько часов он улегся спать прямо на движущейся крестьянской телеге, куда Пантелей заботливо набросал сена. Скрипели колеса. Ездовые негромко подгоняли все еще не до конца пришедших в себя после штормовой качки лошадей. Но сон не шел.

В это самое время в Мелитополе, в штабе Тринадцатой, командарм Иоганн Паука, на ходу сдававший дела, и новый командующий, Роберт Эйдеман, обсуждали тот самый план Слащева, который явился белому генералу в минуту вдохновения. Перед ними лежали листки, исписанные твердым почерком Кольцова: «Операция “Седьмой круг ада”, ее задачи и конечная цель».

То, что Слащев был задержан у Ефремовки, пусть и ценой гибели полка Короткова, давало им возможность правильно распределить силы.

Наперез Слащеву выдвигались все возможные резервы... На рысях шла свежая конная дивизия имени героя казака Блинова. На путях у Мелитополя-Товарного пыхтели три бронепоезда с мощной морской артиллерией, с привязными аэростатами наблюдения. Эйдеман и Паука знали, что Слащев в конце концов опрокинет их силы. На то он и Слащев, гений войны.

Но Тринадцатую армию, гордость товарища Троцкого, они слопать ни за что ни про что не дадут. И под расстрел идти не хочется, и гордость не позволяет. И какой бог – хотя прибалты хорошо знали, что бога нет, и церкви старательно ломали и долбили снарядами, – какой бог, какой счастливый ветер прислал им этого Кольцова? Не будь его, идти бы Эйдеману и Пауке ко льву революции, Льву Давидовичу, наркому военно-морских и сухопутных сил товарищу Троцкому, для короткого разговора и еще более короткого и скорого суда.

## Глава вторая

Со времени знакомства Старцева с управделами ВУЧК Гольдманом у профессора началась совсем другая жизнь – упорядоченная и осмысленная.

Едва светало, Иван Платонович поднимался с постели и неторопливо ходил по квартире, ожидая, когда можно будет идти на службу. Это он так для себя назвал свое дело – службой. А как еще можно было назвать его ежедневное присутствие в принадлежащем ЧК приземистом особнячке?

Вот уже больше недели с утра и до позднего вечера Иван Платонович с помощью еще двух приставленных к нему молоденьких чекистов наводил порядок в харьковской сокровищнице. Рассортировывал драгоценности. Камешек к камешку раскладывал по цвету, прозрачности, по весу, точнее сказать, по каратам и по всяким иным качествам и разновидностям. Что-то, полагал он, следовало отправить в музеи, вплоть до Эрмитажа. Например скифские украшения. Туда же должно было отправить немногие редчайшие монеты, случайно оказавшиеся среди не представляющих большого интереса частных коллекций: «семейный» полуторник, рубль Константина, рубль Анны «в цепях», два уникальных античных кизикина из шести, известных в мире, ну и различные более поздние редкости, такие, например, как свадебная диадема княгини Вишневецкой. Все это профессор упаковал в отдельные ящички и коробочки, снабдив каждый уникам пространными описаниями и ссылками на различные источники, где эти предметы уже упоминались.

Кроме того, Иван Платонович завел картотеку, куда заносил все рассортированное им: каждый камешек, каждую редкую и не очень, но представляющую определенный музейный интерес вещицу. Работа эта все больше и больше нравилась ему. Она была близка его любимой профессии – археологии – и требовала такой же тщательности и скрупулезности. За работой он не успевал замечать, как отгорали летние дни, и почти не ощущал одиночества.

Случалось, он и ночевал здесь, в особнячке, в бывшей комнате прислуги: ему это разрешилось как особо доверенному лицу.

Иногда по вечерам к нему в гости и попить «мерефского» травяного чайку заходили сторожа, все больше из полуинвалидов красноармейцев. Под тихий и уютный шумок самовара они вели неспешные разговоры (а то и споры) о жизни, о будущем. Но больше – о предмете, которым занимался сейчас Иван Платонович: о камнях, золоте и других ценностях, об их вреде и пользе для людей.

– Объясни мне, Платонович, – запросто обращался к нему казак Михаленко, побывавший и урядником, и командиром бригады, и полковым комиссаром. – Богатства здесь, к примеру, огромнейшие, можно даже так выразиться – первейшие. Это здесь только... А сколько их вот так же собрано по всей России!.. И какой затем выйдет из них прок, на какие светлые дела пойдут? Всякое там золото, бриллианты – они к чужому карману как к магниту тянутся. Не растащат ли их по дороге?

– Что ты, что ты, Иван Макарович! – махал руками Старцев, весь в упоении бриллиантовой мечты. – Все это пойдет на образование твоим детям и внукам, на детские дворцы, на больницы, на просторные жилища для рабочих...

– Это верно, – соглашался Михаленко. – Это складно и по мысли очень прицельно. Только из золота дворцы или больницы не сложишь, так? Стало быть, надо все это продать, чтобы обратилось в деньги, да? А кому продать? Своим буржуям – так у них же и отнято. Мировому капиталу? Он за полную цену, зная нашу нужду, не возьмет. Так, может, даст хлебушка осьмушку... Не получится, что мы, собрав в кучу такие роскоши, станем беднее, а? Ну как бы в принципе хотя бы научном, скажем... Мол, отняли у себя по полной цене, а отдали дяде за полущку?

Иван Платонович, пораженный этой мыслью, долго не отвечал. Витиеватый, но весьма убедительный ход рассуждений бывшего урядника заставлял его сосредоточиться, словно над внезапно осложнившейся шахматной партией. Он и сам не однажды размышлял над тем, что драгоценности эти политы чьими-то слезами, а может, и кровью. Ведь все это был результат реквизиций, конфискации – и ладно, если из стальных равнодушных банковских сейфов, а если из теплых квартир, из семей, где каждая ниточка жемчуга или колечко принадлежали или предназначались кому-то, обладающему лицом, чувствами, живыми чертами: дочерям, невесткам, невестам, возлюбленным?

Но Иван Платонович недаром сформировался как революционер и демократ еще в восьмидесятые годы, когда живы были народники, когда зачитывались книгами Чернышевского о небывалых голубых городах, которые чудом возникнут среди русских холодных равнин, как только все богатства будут справедливо, поровну разделены.

– Все теперь принадлежит трудовому народу! – восклицал Старцев. – Эти украшения для пролетариата, для тех, кто всю жизнь жил тяжким трудом и не мечтал о такой красоте.

– Оно верно, – вздыхал философ-самоучка Макарович. – Но народ украшения не носит. Нет такого большого, для всего народа, украшения. А ты нацепи какой-нибудь селяночке хорошенькой эту, как ее, ну что на голове...

– Диадему!

– Да, диадему! И селяночка из трудящего класса момент подается в другую сторону. Получится панночка. А как же всеобщее равенство?

Вот такие случались у них разговоры за самоваром.

Лишь возвращаясь домой, Иван Платонович ощущал свое одиночество. Но твердо верил, что скоро, очень скоро кто-то из близких ему людей обязательно объявится в Харькове и разыщет его. Не может быть такого, чтоб и Наташа, и Кольцов, и Юра, и Красильников сгинули без всякого следа. А коль нет следа, они живы. Скрываются где-то там, на вражеской стороне, но живы!

Он был оптимистом, Иван Платонович. И верил, что уже совсем скоро наступит всеобщее счастье, а раз так, то нужно научиться терпеть и ждать.

## Глава третья

Торжественно и даже празднично отчалил «Кирасон» от Графской пристани. Пассажиры собрались на палубе, вглядывались в удаляющийся белокаменный Севастополь. И когда в белесой дымке исчезла сигнальная мачта Морского ведомства и стихли вдали горганные крики чаек, на пассажирской палубе, как вестник грядущих неприятностей, появился чумазый от сажи кочегар с лицом пойманного конокрада. Протиснувшись сквозь толпу нарядных пассажиров, он торопливо проследовал в капитанскую рубку.

Сквозь стекла рубки было видно, как капитан и кочегар, отчаянно жестикулируя, о чем-то оживленно разговаривают или, быть может, ругаются. Потом капитан передал штурвал своему помощнику, а сам последовал за кочегаром к лестнице, ведущей в трюм, спустился вниз.

А спустя еще минут тридцать капитан застопорил ход судна. «Кирасон» неподвижно застыл посреди моря. Из трубы почти не поднимался дымок, и машина там, внизу, лишь слегка вздыхала, удерживая нос парохода против волны.

– Что-то случилось? – спросил кто-то, находящийся поблизости от рубки.

Капитан помедлил с ответом, видимо прикидывая, как лучше сообщить неприятную новость, и решительно вышел к пассажирам, которые засыпали капитана вопросами, несмотря на то что он поднял руку, ожидая тишины.

– Нам придется какое-то время дрейфовать, пока там, на берегу, найдут уголь и на лихтере переправят нам, – в наступившей наконец тишине сообщил он. – Я только что связался с берегом, но ничего утешительного мне пока не сказали. Но... будем надеяться.

– Но почему дрейфовать?

– Дабы сэкономить ту сотню пудов угля, которая может пригодиться на крайний случай. «Штормовой запас»!

– Как? Вы отправились в рейс без угля?

– Уголь был. Только вчера утром – я сам присутствовал – забункеровали около трех тысяч пудов. Вполне хватило бы до Стамбула... и еще был бы резерв...

– Так где же он?

– Украли! – Седоусый вежливый капитан развел руками. – Да, господа: украли!

– Этого не может быть! – закричали сразу несколько пассажиров-технарей, которые хорошо представляли, что такое три тысячи пудов угля. – За сутки?

– За ночь. Я тоже не верил. И только что спускался в трюм. Угольные ямы пусты. И двое кочегаров не пошли в рейс. Просто не явились к отходу, – оправдывался капитан.

– Но ведь три тысячи пудов! За одну ночь!

– Россия, господа!.. – сказал капитан, и это был, пожалуй, самый сильный аргумент. После этих слов даже самые недоверчивые поверили. В какой-нибудь другой стране на то, чтобы выгresti из угольных ям почти три тысячи пудов угля, понадобилась бы добрая неделя. Да и не двум кочегарам. Впрочем, сколько человек орудовало здесь, тоже неизвестно.

Трудно представить, и как это было сделано. Даже угольной пылью на палубе не наследили. Повсюду была такая чистота, что никто из команды, если верить капитану, до самого отхода не удосужился заглянуть в прикрытые брезентом угольные ямы. Фокус почище, чем у знаменитого иллюзиониста Гудини.

– И что же будем делать? – спросил кто-то из дотошных. – Может, есть смысл вернуться?

– Вряд ли мы дотянем до берега, – спокойно сказал капитан. – Тем более что и ветер не благоприятствует!.. Нет-нет, господа! Будем уповать на милосердие Господне!..

После всех этих объяснений мягкий и вежливый капитан вдруг превратился в наглого корсара, и даже выпачканная в саже трюмная команда, тоже высыпавшая на палубу, ожидая потехи, стала подозрительно напоминать пиратов.

Капитан пояснил собравшимся на палубе пассажирам, что даже если уголь им подвезут, его надо будет покупать. Для этого нужны деньги.

– Но ведь у вас есть деньги, – сказала пожилая дама с крохотной собачкой на руках. – В конце концов, билеты мы получили вовсе не бесплатно. Мы за них платили деньги, и немалые.

Капитан терпеливо объяснил, что по существующим законам все вырученные за билеты деньги сдаются в финансовую часть пароходства. Посему денег у него нет. Словом, на новую бункеровку нужны дополнительные взносы. Кто сколько может!

И тут же помощник капитана стал обходить пассажиров с фуражкой. Причем глаз у него был наметанный, и он безошибочно направлялся к состоятельным пассажирам. А у нищеты, не сумевшей попасть даже в третий класс и расположившейся на палубе, жалкие рубли собирали матросы, причем значительная часть мятых ассигнаций пропадала у них за воротами тельняшек.

Щукин был наслышан о таких финансовых уловках моряков, курсирующих между Крымом и Турцией. И капитанов и матросов не хватало, большая часть судов стояла у причалов или болталась на рейде, имея на борту лишь авральную вахту. Профсоюзы же, которые заключили с Врангелем соглашение, требовали для экипажей полноценных выплат и всяческих льгот. Но так как денег на выплаты не хватало, а о льготах и говорить было нечего, команды плавающих судов пытались вот таким пиратским способом вымогать себе на хлеб. С маслом, конечно.

Спустившись вниз, в кочегарку, Щукин убедился, что капитан не обманывает, что угля и в самом деле в трюмах практически не было. Эх, расстрелять бы, по примеру большевиков, капитана вместе с его хитроглазым помощником – остальные бы враз пришли в себя. И дисциплинка бы подтянулась, в бункера почаще бы заглядывали, робу хоть перед рейсом стирали, чтобы не были похожи на разбойников. Да нельзя. Врангель и сам, быть может, скрежещет зубами от этой вселенской флотской расхлябанности, но за ним бдительно следит французская комиссия по соблюдению прав и свобод во главе с одноруким майором французской армии Пешковым, родным братом известного большевика Якова Свердлова, побывавшим даже в приемных сыновьях у пролетарского писателя Максима Горького. Воспевал, воспевал Алексей Максимович босяков, и довоспевался: они теперь и в капитанах, и в матросах...

– Пожалуйста-с, – обратился к Щукину помощник, протягивая фуражечку и между тем скользая глазами по Тане, от ног до головы.

Щукины занимали каюту первого класса, и полковника, который был теперь в штатском, помощник принял за разбогатевшего спекулянта.

– Ты глазами не зыркай, – процедил сквозь зубы Щукин. – Спущу вечерком за борт к такой-то матери – никто не увидит.

И он положил в фуражку пачку синеньких «колокольчиков». Хотя, наверно, помощник ожидал царских, просторных как простыни, «катенок» и «петенок», но все же он сделал довольное лицо.

– Виноват, – сказал он. – Промашку дал. Как говорится, обознался в тумане.

Помощник приложил ладонь к голове и исчез.

– Что ты ему такое сказал? – спросила Таня. – Он даже как-то в лице переменялся.

– Пароль, – ответил Щукин. – Такой обычный мужской пароль.

Пароход болтался в море до самого вечера, когда наконец вместо лихтера с углем к ним пришел катер с неким торговым господином в грязном канотье, и тут выяснилось, что в Севастополе остался лишь неприкосновенный запас угля для военных судов.

Вечерело. На пароходе горели экономные огни, едва слышно работала машина, когда в каюту Щукиных осторожно постучался капитан. Представился. Был он вежлив и деликатен и уже ничем не походил на корсара.

– Вы, возможно, обо мне плохого мнения, но побудьте там, у них, – он махнул рукой в сторону то ли Турции, то ли Европы, – и вы меня поймете. Мы страна общинная, у нас бедных

жалели, даже арестантам пироги пекли, выносили, а у них каждый за себя, и если без денег – замерзай на свалке, никому не нужен... Вы, мне еще в Севастополе докладывали, господин серьезный, понимающий. Мне то ли без дела в Севастополе болтаться, то ли рискнуть... Вы ведь тоже, я так понимаю, стремитесь покинуть Крым... Я к тому, что здесь, в море, часто попадаются турецкие шефкеты с ворованным английским углем, продают нашему брату. Коммерция на ходу.

– Вы капитан, вы и принимаете решения, – сухо сказал Шукин. – И несете ответственность за судьбу людей и судна.

– Оно верно. – Капитан погладил сивые усы. – Эх, а раньше по Крымско-Кавказской линии минута в минуту ходил, хоть часы сверяй.

Ночью Таня вышла на палубу, кутаясь в шаль. Шукин, положив в карман браунинг, вышел следом, остановился неподалеку: понимал, что дочь хочет побыть одна, и в то же время она должна ощущать его присутствие, его участие и любовь. Негоже человеку быть единому. Особенно в те минуты, когда он покидает Родину, дом, и покидает, вероятно, навсегда...

Шукин знал, что и бывалые, обстрелянные офицеры, случалось, бросались вдруг вниз головой с высоких бортов, когда до них доходила наконец одна простая мысль: родных берегов больше не будет. Ни-ког-да.

Он наблюдал за Таней, стоявшей, кутаясь в шаль, у леера. Ах, красивая выросла у него дочь. Но непредсказуемы требования женской природы. Она влюбилась во врага. Монтеки, Капулетти... Будь мирное, не расколотое революцией время, отдал бы он дочь за капитана Кольцова, офицера-фронтовика, пусть и левых взглядов, – и был бы счастлив на свадьбе, радуясь ее счастью. Так это возможно, так, в сущности, близко: только зажмурься, забудь о делении на белых и красных. Русский народ, что же ты наделал, что натворил? Разделился в себе самом, и горе тебе...

Вдруг загрохотали якорные цепи. Шукин удивился: он знал, что глубины здесь до тысячи метров. Какие якоря! «Кирасон» развернуло носом к ветру, и он вновь продолжил дрейфовать.

Отведя Таню в каюту, Николай Григорьевич поднялся в капитанскую рубку. Палуба отсюда казалась покрытой чем-то вроде кротовин – темных кочек свежей земли, насыпанных подземным зверьком. Это беженцы, у кого не было денег на каюту, ночевали, накрывшись чем попало, на палубе. Многие кучки зашевелились, когда прогремели якоря и пароход повернуло.

В рубке горели слабые лампочки, и то в полнакала. Капитан был занят, вместе со штурманом они что-то высчитывали по лощии. К Шукину тут же подошел уже знакомый ему бойкий помощник, проникшийся к полковнику чрезвычайным почтением. Покосившись на оттопыренный и утяжеленный пистолетом карман пиджака, он бойко и даже почему-то весело доложил:

– Вот-с... Турок с угольком пока не попадается. Приходится экономить последнее. Тут только вот такая беда: ветерок зюйд-вест, от Болгарии, и все усиливается. Даже если турок нам попадется, мы при такой качке уголек не перебункеруем...

– А якоря? – спросил Шукин. – Якоря зачем?

– Якоря, знаете ли, спущены всего на тридцать метров, они тормозят дрейф своим сопротивлением и держат судно носом по ветру. Парусность меньше, не так гонит и не так качает...

Он посмотрел на Щукина, прищурился одним глазом, и шмыгнул острым носиком:

– Тут еще такая неприятность. Нас гонит куда-то к Новороссийску... или к Сочи. Вот в чем дело-то. К красным гонит. Не хотелось бы, знаете, попасться...

Но при этом его темные глазки явственно говорили: «Попадемся, мне-то ничего не будет, я гражданский специалист, на этом же пароходе и останусь, а вот вам, господин с оттопыренным карманом, вам-то каково будет?»

Щукин ничем не выдал своего беспокойства.

– Если будем приближаться к красным берегам, прошу непременно доложить, – строго сказал он.

– Обязательно-с! Непременно! Но это еще не скоро... Может, через сутки, а то и поболее... И ветер к тому времени может измениться...

Но в голосе его звучали ехидные ноты.

«Господи, сколько же людей ненавидят нас, – подумал Щукин. – Жалкая кучка храбрецов сражается за Россию, гибнет, а вокруг насмешки, безразличие и даже ненависть. Не со стороны большевиков, это ладно. От своих...»

В каюте обеспокоенная Таня спросила отца, принес ли он какие-нибудь хорошие новости. Щукин не стал врать или успокаивать дочь пустыми словами. Рассказал, что дрейфующий пароход, по прикидкам капитана, несет к берегам красных. Но это еще неточно. Все может измениться в любую минуту.

– Ну а если это случится? – спросила Таня.

– Если?.. Надеюсь, мы найдем выход, – сказал он. – Подберем надежных людей, спустим шлюпку. Думаю, мы сможем добраться до Абхазии... За рекой Бзыбь Советы кончаются, там другая власть.

– Какая?

«А черт ее знает», – хотел сказать Щукин.

– Но может, Бог смилостивится и нам не придется плыть по морю на лодке и искать приют у добрых абхазов, – сказала Таня и прислонилась к плечу Николая Григорьевича. – У меня такое предчувствие, что все злое обойдет нас стороной!..

Щукин ощутил, как невольная влага подступила к глазу, правому, тому, что с контуженной стороны. Глаз дернулся, под веком что-то защипало, на щеку выкатилась слеза и коварно, предательски упала на Танину шею. Ну вот тебе и несгибаемый контрразведчик, железный полковник Щукин. Но Таня только кивнула головой, давая знать, что понимает отца, и еще крепче прильнула к его плечу.

Днем весь пароход был наполнен тревожными разговорами. Пассажиры передавали друг другу вести о дрейфе, о силе ветра и его направлении и о тех берегах, которые могут вдруг показаться из летней дымки. Гадали, предвестниками чего они станут: спасения или смерти.

Капитан старался внести успокоение:

– Господа, до берега еще далеко, а флота у красных нет, одни истребители<sup>2</sup>, которые далеко не ходят.

Какой-то шутник, багроволицый, потный господин средних лет, пояснял дамам:

– Черноморский флот благодаря большевикам потоплен в Цемесской бухте у Новороссийска... Сами потопили. Это у нас такая традиция – свои корабли топить. «Варяга» затопили, Черноморскую эскадру еще в Крымскую войну затопили, теперь вот свои линкоры затопили... Все, что мы умеем, – себя топить.

Стоявший неподалеку пожилой матрос в сердцах дернул себя за серьгу в ухе:

– Нехорошо, барин! Вы публика образованная, зачем людей такими словами смущаете? Вы их хорошему учите, а не нагоняйте тоску. От тоски-то разбой и начинается...

Шутник умолк, еще больше покраснел и смешался в толпе.

Ветер, к общей тревоге, усиливался и все сильнее увлекал пароход к неведомым берегам. Все ходили с блокнотиками, карандашиками, решали школьные задачки: «Если ветер несет судно со скоростью два узла, то есть три целых семь десятых километра в час, то, стало быть...» Все уже знали, что такое узел, морская миля, ветер знойд-вест...

Так прошли еще два дня.

На шестое утро капитан радостно сообщил в рупор:

---

<sup>2</sup> Истребителями назывались торпедные катера.

– Господа, на траверзе Сухуми! Нас относит к порту Поти.

Пароход ликовал. Это был праздник единения, первый класс обнимался с бескаютными.

Угля хватило лишь на то, чтобы раскочегарить машины и не дрейфом, а гордо, под всеми парами, войти в порт Поти.

Рейд был заполнен судами разных стран, но преимущественно под английскими флагами. Похожий на цветной матрас «Юнион Джек» был замечен чаще всего, он торжественно трепыхался на сырых колхидских ветрах.

Поти – зона влияния англичан. Они рядом, в Батуми, с тех пор как после окончания Первой мировой вытеснили оттуда немцев и турок. У англичан есть уголь, теперь и русская нефть, они нация победителей.

Швартуясь, капитан дал несколько длинных гудков, рискуя выпустить последний пар. Не надеясь на свой английский, снял с полки и положил перед собой словарь. Он ждал англичан.

Но вместо англичан на моторном катере прибыл некий деловой человек Васо. Одетый по-европейски, но с характерной внешностью кавказца, очень приветливый на вид, он заперся с капитаном в каюте, и они долго спорили о чем-то, временами очень громко – и тогда среди пассажиров начиналась тихая паника.

Васо несколько раз выбегал из каюты, крича, что ноги его больше не будет на этом паршивом пароходе. Капитан рычал в ответ что-то похожее на проклятья. Васо, однако, каждый раз возвращался.

– Ничего страшного, это они торгуются, – успокоил пассажиров помощник. – Извините, юг. Манера такая... Думаете, в Турции будет по-другому?

– А он кто по национальности? – спросила Таня, взволнованная вчерашним разговором о Грузии и Абхазии.

– Немножко грузин, немножко абхаз, немножко армян, немножко грек... В общем, торговый человек, – ответил помощник и вежливо взял под козырек, стараясь не смотреть на Таню.

Через час споры утихли, раздался звон бокалов, капитан и Васо вышли из каюты почти обнявшись, оба распаренные и тяжело дышащие. Васо отчалил, сделав всем, особенно дамам, несколько поклонов со снятием шляпы. А капитан, едва катер с Васо отчалил, собрал пассажиров:

– Разбойник, господа! Кровапивец! Но только у него уголь. Он его выменял у англичан за вино. Прекрасное кахетинское. Но он не хочет взамен русских денег. Здесь, господа, ходит столько бумажек, что они уже ничего не соотносят... Или валюта, или золото... Прошу сдавать, господа. По силе возможности.

Снова пошел помощник с фуражкой. Важные пассажиры отыскивали в своих кошельках фунты стерлингов, доллары, франки, лиры. Помощник, как заправский счетовод, держал за ухом карандаш и высчитывал курсы. Палубные, бескаютные, третий класс снимали с пальцев последние перстеньки, отщелкивали сережки. Шукин отыскал в портмоне заветные десять фунтов.

Таня ушла с палубы, сидела у себя, закрыв лицо руками. Было мерзко и стыдно. И обидно: за Россию и русских.

– Папа, неужели никогда не будет того, что было? – спросила она, когда отец вернулся в каюту.

Шукин промолчал.

– Может, лучше вернуться? Обратно. В Крым.

Николай Григорьевич глухо, как бы не желая того, сказал:

– Крым обречен. Рано или поздно все равно придется его покидать. Так лучше раньше.

– А если... если в Советскую Россию?

– Меня расстреляют. Да и тебе будет нелегко. Даже не берусь предсказать насколько.

Он подумал, что Таню мог бы спасти Кольцов, если его чувство так же серьезно, как чувство Тани. Но кто и где теперь отыщет Кольцова? Да и жив ли он и выживет ли в этой вселенской кутерьме? Нет. Лишь он единственный во всем мире, кто может пожертвовать собой ради Тани, ради того, чтобы ее жизнь сложилась счастливо...

– Я вижу, все в руках Божьих, и мы ничего иного не можем предпринять. Пусть будет так, как будет, – сказала Таня и ушла в парходную церквушку: маленькую глухую носовую каютку, где были алтарь, иконостас, где горели лампадки.

...Бункеровались целый день. Матросы из корсаров превратились в рабов-негров, помогали грузчикам Васо таскать мешки с углем. Вечером торговый человек Васо прислал на парход провизию и – как подарок дамам – несколько корзин с черешней, цветами и вином.

Глубокой ночью «Кирасон» тронулся в путь к Стамбулу, до которого теперь было в два раза дальше, чем от Севастополя.

Таня, лежа в каюте, продолжала с закрытыми глазами молиться:

– Благодатная Мария, пренепорочная и присноблаженная Богородица, мать-заступница, убереги нас... Убереги и спаси отца моего. Дай ему силу духовную и телесную выдержать испытания в чужих краях... Благословенная покровительница наша, помилуй и его, пусть и безбожника, пусть и заблудшего... но и нищие духом узрят царствие Божие, разве это не верно, всемилостивейшая? И даруй им всем мир, дай им понять друг друга и сродниться душевно, им, моим близким, и всем, кого искушение ввергло в вечную распрю... объедини их... И дай мне увидеть его еще хоть разочек, хоть где-нибудь на минуту, я так мало хочу, так мало прошу, о Мария...

Николай Григорьевич, полагая, что дочь спит, достал из кармана браунинг, проверил, нет ли в патроннике патрона, отвел затвор и заглянул в темный проем. Ствол был чист... Привычно проделывая все действия, необходимые для проверки и чистки оружия, он не переставал думать о том, что стало особенно беспокоить его в эти первые дни плавания.

Он понял, что везет Таню не в новый спокойный мир, но в мир, глубоко чуждый им, где дочь будет обречена на нищету и прозябание. О худшем думать не хотелось.

У него был некоторый запас денег, но несомненно, что на таких, как он, сразу накинутся акулы, жаждущие поживиться даже за счет беженцев. Пройдет немного времени, и они останутся ни с чем. Значит, еще в Стамбуле он должен будет раздобыть денег. И немало. Контрразведчик превратится в бандита? Ну что ж! Это не такой уж нелогичный путь. В конце концов, он будет изымать деньги только у бандитов, у тех, кто тихой сапой грабил и грабит других, ставит их в безвыходное положение.

Как это называется у большевичков? Экспроприация. Или, как говорили специалисты, «экс». Вот «эксами» они займется, пока не поймет, что Таня хорошо устроена в этой жизни.

А если он проиграет?.. Нет, он не может, не имеет права проиграть. Он будет действовать наверняка. В конце концов, он настоящий, хорошо знающий свое дело контрразведчик. В бытность в Севастополе он засек нескольких тайных богачей, которые всюю обманывали Управление снабжения, вплоть до того, что сплавляли купленные на деньги Русской армии товары и оружие в красную Одессу. Они думают, что Стамбул защитит их своими старыми стенами? Посмотрим! И этот Федотов, представитель торгового дома «Борис Жданов и Кэ» – тоже темная-лошадка. Хотя богач из богачей. Проверим...

«Ты, Танюша, можешь спать и видеть спокойные сны, – подумал он, взглянув на дочь, лежащую с закрытыми глазами. – Я не дам тебе пропасть, не дам изведать нищету...» Он собрал пистолет и просмотрел патроны: нет ли заусениц, шероховатостей, которые смогут помешать подаче и выбросу гильзы. Весь этот процесс успокоил его и придал чувство уверенности...

Мерно и спокойно работали машины, и слышно было, как внизу, разрезаемая носом парохода, плещется вода. «Кирасон» уносил Таню, Николая Григорьевича и еще сотни три-четыре человек в Стамбул, к новым испытаниям, новым мытарствам.

Над морем висело огромное багровое солнце, предвещающая скорую встречу с новой, таинственной землей.

Восточная сказка только начиналась...

## Глава четвертая

В начале беспокойного жаркого лета, когда повсюду ходили слухи о наступлении против панской Польши, которая отхватила русские земли по правому берегу Днепра, включив в свое державное владение и «мать городов русских», Иван Платонович разбирался в присланных с Дона уже трижды реквизированных церковных ценностях.

Трижды реквизированы они были потому, что первый раз их изъяла новая советская власть из воронежских и тамбовских богатейших монастырей и храмов.

Второй раз сокровища реквизировал доблестный донской генерал Константин Мамонтов во время знаменитого рейда своей конницы за Тамбов, под Москву. Ему-то и приписали красные журналисты ограбление святых мест, но прыткий пятидесятилетний казак грабил только награбленное, благо удобно было – все уже свезли по хранилищам, по музеям. Действующих же, неоскверненных храмов не трогал, да их уже почти и не было.

Третий раз собрали уцелевшую утварь опять же в донских церквях, по хуторам да по станицам. И хотя добра к этому времени стало втрое меньше, чем при первой реквизиции, все же немало осталось еще бесценного: иной европейской стране хватило бы для вечной гордости.

Разложив самые редкие и важные сокровища на столах, Иван Платонович восхищался украшенными драгоценными камнями дарохранительницами и дароносицами, причудливыми сверкающими трикириями, изумительного литья рипидами и, конечно, темными иконами в дорогуших окладах, откуда глядели на профессора скорбные, вопрошающие глаза Богоматери и требовательные, строгие глаза Спаса.

И надо же было такому случиться, что именно сейчас, в это самое время, сквозь большие окна особняка, донеслись мерные, звучные удары благовеста: это на Залопанской стороне, в храме Благовещения, созывали прихожан к вечерней молитве по случаю праздника Всех святых, в земле Российской просиявших. Голос большого колокола раз за разом проникал в окна, как будто расширяя их и желая донести звучание меди именно до Ивана Платоновича. Иконы вмиг как будто вспыхнули всеми своими ризами, и глаза, глядящие из полутьмы старого письма, стали пронзительными и уже не вопрошающими, а требовательно спрашивающими о чем-то.

О чем? О залитой русской кровью стране, о пустых полях, о миллионах вдов? Профессор растерялся. Он с четырнадцати лет, с гимназической скамьи, записал себя в убежденные атеисты, но в эти мгновения память о первых годах жизни, память о живой детской вере, об ангеле-хранителе, который неотступно следует за каждой душой (даже большевистской), вдруг хлынула в его уже уставшее от нелегкой жизни и болезней сердце.

А когда благовест перешел в радостный, легкий перезвон и профессор услышал и соседние храмы – Николаевский и Успенский, когда глядящие с икон скорбные глаза как будто посветлели, желая, видимо, одобрить старого революционера, то Иван Платонович сделал то, чего никогда, никак не ожидал от себя: он перекрестился и поклонился святым образам. Более того, он снова и снова истово крестился: пальцы сами складывались в троицкое перстие, и рука сама поднималась ко лбу.

И тут он почувствовал, что в комнате он не один, что кто-то стоит за его спиной. Оглянувшись, Иван Платонович увидел Гольдмана, своего начальника и покровителя. Небольшое, коротконогое тело управляющего делами неслышно внесло в дверь огромную, дынькой голову, а затем вошло само. Старцев смутился и не знал, что сказать.

Гольдман заметил это и, видимо, решил пойти профессору навстречу.

– Знаете, я тоже стал бы молиться, если бы знал кому, – сказал он. – У Яхве нет лица, да и далек он от меня и непонятен. А к другому богу меня не приучали...

Гольдман выглядел грустно, хотя весть принес победную.

– Хотите последние новости? Конница Буденного прорвала польский фронт, заняла Житомир и Белую Церковь, – сказал он. – Киев снова наш, и это тоже хорошо... даже очень... Но вот Врангеля мы, кажется, не удержим. Все силы брошены на польский фронт, и в Таврии – одна Тринадцатая армия. К тому же у нас под боком зашевелился Махно. К счастью, пока не знает, что предпринять.

Старцев все еще никак не мог прийти в себя. Ай-яй-яй, – старый большевик, как же это ты? Но Гольдман своим спокойствием и явным доброжелательством постепенно рассеял конфуз.

Когда к Старцеву явилась ясность восприятия, первой его мыслью было: Гольдман явно пришел с еще одной, не менее важной для них обоих вестью, чем сводка последних событий. И он не ошибся.

– Поговорим уединенно, – сказал Гольдман.

Они уселись в угловой комнате, «спецхранилище», где были собраны раритеты, за малахитовым столиком, украшенным статуэткой, сделанной в молодые годы Павлом Антокольским для харьковского сахарозаводчика и мецената Грищенко. Полуобнаженная вакханка прислушивалась к совершенно конфиденциальной беседе чекиста с профессором-археологом. Строго говоря, Гольдман чекистом тоже не был, он лишь недавно расстался с десятком торговых профессий, которые кормили его. Но об этих деталях своей биографии управляющий делами при новом начальнике тыла Юго-Западного фронта Дзержинском распространяться не любил. Тем более что Дзержинский и без откровений Гольдмана хорошо знал всю подноготную его небезгрешной жизни.

В элите ЧК Гольдман был пришлым человеком, его всего лишь полтора года назад «привел за ручку» сам Дзержинский. Исаак Абрамович промышлял тогда всякими торговыми делами, чтобы прокормить семью, и попался как спекулянт. По счастливой случайности его не шлепнули сразу, а завели дело, и оно каким-то невероятным образом попало на глаза Дзержинскому. И вот тут-то выяснилось, что Исаак Абрамович – двоюродный брат красавицы Лии Гольдман, в которую был когда-то влюблен революционно настроенный юноша.

Все произошло как в сентиментальном романе. Лия, дочь торговца, влюбилась в польского шляхтича-революционера, а он влюбился в красавицу Лию. Это была пылкая страсть, которой не могли помешать родители Лии. Но пока Астроном (одна из кличек Дзержинского) мотался по ссылкам и тюрьмам, его самая яркая звездочка угасала от туберкулеза в санатории под Варшавой.

Дзержинский вернулся к своей любимой, когда ей оставалось жить всего несколько дней. Памяти о Лие Астроном остался верен на всю жизнь. Естественно, Исаака Абрамовича председатель ВЧК спас от расстрельной статьи. Более того, познакомившись с ним поближе, даже сыграв несколько партий в шахматы (причем Гольдман играл, не глядя на доску), Дзержинский пришел к выводу, что его несостоявшийся родственник – человек исключительной памяти и высоких деловых качеств. Как раз такой был нужен, чтобы вести запутанные дела в ЧК.

Уже очень скоро Гольдман понял, как много, несмотря на строгий контроль, примазалось к ЧК лихоимцев, авантюристов, взяточников, садистов и романтических дураков.

Хотя Исаак Абрамович не очень верил в близкую светлую зарю всего человечества, он старался по мере сил отыскивать честных и умных сотрудников, которым бы мог без страха доверять. Такой находкой был для него профессор Старцев.

В этот день Гольдман получил шифrogramму от начальника учетно-распределительного отдела ВЧК Альского. Он знал, что Альского прочат на должность наркома финансов, и поэтому к сообщению отнесся с особым вниманием.

Перебрав в памяти всех сотрудников управления делами ЧК, Гольдман пришел к выводу, что поручение Альского может выполнить только Старцев.

Гольдман положил на малахитовую поверхность стола полученную шифrogramму, подвинул ее к Старцеву.

– Это мне? – спросил Старцев.

– Это – нам.

Старцев склонился над шифrogramмой.

«Настоящим предлагаю управляющему делами и заведующему учетно-распределительным отделом ВУЧК срочно организовать вывозку из районов возможных боевых действий всех реквизированных и иных ценностей, имея целью доставку в организуемый при СНК Гохран (Государственное хранилище ценностей). Для чего предписываю создать поезд со специалистами и с надежной охраной. Начучраспред Альский».

Старцев покачал головой.

– Вот и я тоже только смог покачать головой, – согласился Гольдман. – Во-первых, что такое возможные боевые действия и где их районы? Мы не знаем, где будет через несколько дней Врангель. Кроме того, у нас здесь повсюду банды: и Васька-Полтавчанин, и Дьявол, и Маруся, и Золотой Зуб и еще десяток других. Они могут нападать и грабить где угодно. Это ли не районы боевых действий! Я уж не говорю о многотысячной армии батьки Махно. Вы знаете, что группы Махно шарят не только под самым Харьковом, но и в городе?

Иван Платонович только вздохнул, не понимая, чем может помочь Гольдману, а заодно всем войскам тыла во главе с председателем ВЧК товарищем Дзержинским. Банды казались неизбежностью, как грибы после дождя. Приезжал отряд с продразверсткой – и тут же из сопротивляющихся крестьян образовывалась банда. Поставки хлеба не выполнялись – количество продотрядов увеличивалось. Соответственно росло и число банд. Кажется, на селе уже не должно было оставаться крестьян – одни пошли в бойцы ЧОНа и отбирали хлеб, другие шли в бандиты и хлеба не давали. А кто же будет этот хлеб растить?

– Еще маленький вопрос: где найти паровоз, вагоны и две смены машинистов и кочегаров? – сказал Гольдман. – И на минуточку, где на маршрутах найти уголь? Все это из области полетов на Луну. Ну, положим, поезд и вагоны я вам обеспечу. И все местные ЧК будут уведомлены и подготовлены...

– Постойте, постойте! Вы сказали «вам»!

– Ну да, вам. Потому что вы, конечно, не откажетесь поехать начальником экспедиции? С вами будут надежные люди, боевой, расторопный комендант и начхоз, чтобы снять с вас мелкие заботы. Я думаю, это будет Михаленко. Как вам нравится такая идея?

Иван Платонович понял, что Гольдман все равно будет его уговаривать и, возможно, уговорит на эту авантюрную поездку. Пытаться отказываться – потерянное время.

– Так куда же все-таки надлежит ехать этим надежным людям, или экспедиции? – слегка насмешливо спросил Старцев. – Поскольку районы боевых действий у нас тут повсюду.

– За кого вы меня держите, профессор! – воскликнул Гольдман. – Это я уже продумал. Таких пунктов десять, может быть, чуть больше. Все остальное – мелочь, там уже все разграблено и вычищено... Максимально полезный маршрут такой: Изюм, Славянск, далее через Ясиноватую, Юзово, Мариуполь, Бердянск... – Он немного замялся и затем продолжил: – Возможно, прежде всего надо – в Бердянск, потому что Врангель уже на подходе... затем... На карте мы еще уточним. Места экзотические, не пожалеете...

Он наклонил голову и по-птичьему посмотрел на профессора, со скрытой, впрочем, усмешкой. Мол, как ты, Паганель, ученый человек, согласен?

– Но почему все-таки я? – задал наконец самый естественный вопрос Старцев.

– Потому что вы, Иван Платонович, голова, вы разбираетесь в тонкостях всего этого золотого хлама, знаете, что сколько стоит. Даже я, торговый человек... в прошлом, разумеется... даже я не могу понять, почему одна какая-то фитиолька ничего не стоит, а другая, почти такая же, стоит столько, сколько наш харьковский банк со всеми его потрохами. К тому же вы самый

порядочный человек из всех, известных в ЧК, вы не исчезнете на пространствах Новороссии со своим замечательным грузом, пользуясь общей нашей неразберихой, не окажетесь где-нибудь в Стамбуле или, упаси боже, в Париже, где конечно же вас может ожидать самое расчудесное житье. «Мулен руж», а? «Максим»?.. Нет, вы предпочтете наш замызганный, пыльный, истерзанный Харьков с пайковым хлебом и пшенной кашей. Разве не так?

– Я должен подумать, – сказал Иван Платонович.

– Конечно! Думайте, – согласился Гольдман. Он посмотрел на высокие, сверкающие хрустальными гранями стеклом, кабинетные часы фирмы «Юнгенсен» в дальнем углу. – У вас целых четырнадцать минут.

И Старцев, опершись на руку, действительно принялся думать. Думал не о путешествии, а о том, каким одиноким оказался он после нескольких лет Гражданской войны: нет рядом ни одного близкого человека, с которым действительно можно было бы посоветоваться.

Иван Платонович подумал и о другом. О том, что в пути, встречаясь со многими людьми, он, пусть с малой вероятностью, сможет узнать что-нибудь о Наташе, Юре или Кольцове. И поэтому размышлял не больше отведенных минут.

– Я согласен, – сказал он.

– Вот и хорошо, – улыбнулся Гольдман. – Кого бы я еще нашел, кроме вас, для такой поездки?

– Послушайте, а вас не смущает, что я совершенно не похож на настоящего чекиста? – спросил Старцев.

– А вас во мне не смущает то же самое обстоятельство? – спросил в свою очередь Гольдман.

Они рассмеялись. На прощанье выпили «мерефского» чайку...

На следующий день Иван Платонович упаковал свои нехитрые пожитки в вещмешок или, по-народному, в сидор. Помимо пары белья он взял с собой посуду, котелок, бритву, ну и, конечно, лупу, тетрадь для записей, пару химических карандашей (необыкновенную ценность, оставшуюся с дореволюционных времен), карандаш специальный, магниевый, аптекарские весы, измерительный циркуль и подробную карту. Впрочем, местность, куда они направлялись, он знал достаточно хорошо и без карты.

Настроение у него было приподнятое: казалось, вернулись времена университетской жизни с ее непременно летними экспедициями. И только одно беспокоило Ивана Платоновича: а вдруг отыщется кто-либо из близких, явится на квартиру и найдет закрытую дверь? Было, было у него предчувствие, что кто-то непременно должен отыскаться. И в знак того, что он не пропал, что он ищет своих, Старцев повесил в центре Харькова, на той единственной афишной тумбе, которой пользовался в дни подполья, среди многих прочих объявлений одно, хорошо знакомое дорогим ему людям, – о том, что некто И. П. Старцев, именно Старцев, а не Платонов (его подпольный псевдоним), проживающий на Николаевской улице, покупает старинные русские монеты, а также занимается обменом.

Свою молодую соседку Лену он предупредил, что если кто-то будет его спрашивать, то следует сказать, что он уехал ненадолго по хозяйственным делам. Пусть ждут – и дождутся. Разумеется, Старцев ничего не мог сказать Лене ни об истинных целях поездки, ни о сроках.

В назначенный час Иван Платонович ожидал своих товарищей по экспедиции, сидя в привокзальном скверике, как раз напротив того места, где еще недавно стояла затейливо сложенная из миниатюрного кирпича часовенка в честь мученической кончины императора Александра II.

Часовню снесли еще в доденикинскую пору советской власти, но сделали это кое-как, и теперь в полуразрушенном углу, натянув сверху кусок рваного брезента, ютились беспризорные, которых то и дело прогоняли с вокзала.

Было очень рано, но июньское солнце стремительно выкатилось из-за лип, уже начинающих цвести, и принялось накалять землю. Ветер гонял на путях тополиный пух. Его несло сюда с длинной, густо засаженной тополями Александровской, а ныне имени большевика Скорохода, улицы.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.